

Предисловие

Густы Фучиковой

В концентрационном лагере Равенсбрюк я узнала от своих сокамерниц, что мой муж, Юлиус Фучик, редактор газеты «Руде право» и журнала «Творба», 25 августа 1943 года в Берлине был приговорен нацистами к смертной казни.

Вопросы о его дальнейшей судьбе эхом отражались от высокой стены вокруг лагеря.

В мае 1945-го после поражения гитлеровской Германии узники из ее тюрем и лагерей, которых фашисты не успели замучить или убить, были освобождены. Среди освобожденных оказалась и я.

Я вернулась на свою свободную родину. Стала разыскивать мужа. Как тысячи и тысячи тех, кто искал и ищет мужей, жен, детей, отцов и матерей, угнанных немецкими оккупантами куда-то в бесчисленные застенки.

Я выяснила, что Юлиус Фучик был казнен в Берлине на четырнадцатый день после приговора, 8 сентября 1943 года.

Также я узнала, что Юлиус Фучик писал в тюрьме Панкрац. Это было возможно благодаря надзира-

телю А. Колинскому, который приносил моему мужу в камеру бумагу и карандаш, а потом тайком, один за другим, выносил из тюрьмы исписанные листы.

Мы встретились с этим надзирателем. Постепенно я собрала рукописные материалы Юлиуса Фучика из его панкрацского заключения, упрядочила исписанные и пронумерованные страницы, которые хранились в разных местах у разных людей, и теперь, читатель, я представляю их тебе.

Это последнее произведение Юлиуса Фучика.

Прага, сентябрь 1945 года

Сидеть, напряженно выпрямившись, уперевшись руками в колени и невидящим взглядом уставившись в пожелтевшую стену помещения для задержанных во дворце Печека, — это, конечно, не самая подходящая поза для размышлений. Но кто заставит сидеть навтытяжку мысль?

Кто-то когда-то давно — наверное, нам уже не узнать, кто и когда, — назвал помещение для задержанных во дворце Печека кинотеатром. Блестящее сравнение! Просторная комната, одна за другой шесть длинных скамей — и на всех неподвижно замерли люди, а перед ними — голая, похожая на экран стена. Все киностудии мира не сняли столько фильмов, сколько их спроецировали глаза задержанных в ожидании очередного вопроса, пытки, смерти. Целые судьбы и их мельчайшие эпизоды, фильмы о матери, о жене и о детях, о разоренном крове и об утраченной жизни, о храбром товарище и о предателе, о том, кому ты дал ту листовку, о крови, которая все льется и льется, о крепком рукопожатии — обязательстве; фильмы, полные ужаса и решимости, ненависти и любви, тревог и надежд. Оставив жизнь позади, каждый здесь изо дня в день переживал собственную смерть. Но не каждый рождался заново.

Сотню раз я видел здесь свой собственный фильм, тысячу раз — его эпизоды, и вот теперь у меня появился один-единственный шанс его рассказать. Если петля затянется до того, как закончу, останутся миллионы людей, которые допишут *happy end*.

Глава 1

Двадцать четыре часа

Еще пять минут — и часы пробьют десять. Прекрасный теплый весенний вечер 24 апреля 1942 года.

Спешу, насколько позволительно для пожилого, прихрамывающего пана, которого я изображаю, — спешу к Елинекам, пока подъезд не заперли на ночь. Там меня дожидается моя правая рука Клецан. Я знаю, что ничего важного он не сообщит, да и мне нечего рассказать, но если не явлюсь на условленную встречу, будет паника, а мне не хочется тревожить без нужды две добрые души — хозяев квартиры.

Меня встречают чашкой чая. Клецан уже ждет, а вместе с ним — и супруги Фриды. Снова беспечность.

— Товарищи, рад вас видеть, но не вот так — всех сразу. Это прямой путь в тюрьму и на смерть. Или соблюдаете конспирацию, или бросаете работу, потому что вы подвергаете опасности себя и других. Поняли?

— Поняли.

— Что принесли?

— Майский выпуск «Руде право».

— Отлично. А что у тебя, Мирек?

— Да как-то ничего нового. Работа идет хорошо...

— Ладно. Увидимся после Первого мая. Дам знать. И до свидания!

— Еще чаю, пан?

— Нет-нет, пани Елинкова, нас слишком много.

— Всего чашечку, прошу.

Из чашки с только что налитым чаем поднимается пар.

Звонок в дверь.

Так поздно? Кто это?

Гости не из терпеливых. Колотят в дверь

— Откройте! Полиция!

— Быстро к окнам! Бегите! У меня пистолет, я прикрою.

Поздно! Под окнами гестаповцы — стоят и целятся из пистолетов. Через выбитую входную дверь агенты тайной полиции врываются в кухню, потом в комнату. Один, двое, трое, девять. Меня не видят: стою за распахнутой дверью, прямо за ними. Мог бы стрелять. Но девять пистолетов наведены на двух женщин и трех безоружных мужчин. Выстрелю — их тут же убьют. Самому застрелиться — станут жертвами перестрелки. Не стану стрелять — посидят в тюрьме полгода, может быть год, до восстания, которое их освободит. Только мне с Клецаном не выбраться. Нас будут пытаться — от меня ничего не узнают, но вот от Клецана? Человек, который сражался в Испании, два года провел в концлагере во Франции и нелегально

пробрался оттуда в Прагу в разгар войны, — нет, такой не предаст. У меня две секунды на размышление. Или, может быть, три?

Выстрелю — избавлю себя от пыток, но пожертвую жизнями четырех товарищей. Так ведь? Так! Решено.

Выхожу из укрытия.

— Еще один!

Первый удар по лицу. Что ж, таким можно уложить прямо на месте.

— Hände auf!*

Второй удар. Третий.

Именно так я себе это и представлял.

Идеально прибранная квартира превращается в груды сломанной мебели и битой посуды.

Снова бьют — кулаками, ногами.

— Марш!

Бросают в машину. На меня постоянно наведены пистолеты. Дорогой начинают допрос.

— Кто ты такой?

— Профессор Горак.

— Врешь!

Пожимаю плечами.

— Сиди смирно — или стреляю!

— Стреляйте!

Вместо выстрела — удар кулаком.

Проезжаем мимо трамвая. Мне кажется или он действительно весь в белых гирляндах? Свадеб-

* Руки вверх! (нем.)

ный трамвай? Сейчас? Ночью? Наверное, у меня жар.

Дворец Печека. Думал, что живым сюда не войду, а теперь едва не бегом поднимаюсь на четвертый этаж. Ага, знаменитый отдел II-A-1 по борьбе с коммунизмом. Становится любопытно.

Долговязый, худой комиссар, руководящий облавой, сует пистолет в кобуру и ведет меня в кабинет. Угощает сигаретой.

— Ты кто?

— Профессор Горак.

— Врешь!

Часы у него на запястье показывают одиннадцать.

— Обыскать!

Начинается обыск. С меня срывают одежду.

— Есть удостоверение личности.

— На чье имя?

— Профессора Горака.

— Проверить!

Телефонный звонок.

— Ну, разумеется, нет такого. Удостоверение — фальшивка!

— Где тебе его выдали?

— В полицейском управлении.

Удар дубинкой. Другой. Третий. Нужно ли мне вести счет ударам? Зачем, дружище? Вряд ли тебе когда-нибудь понадобятся эти цифры.

— Как зовут? Говори! Где живешь? Говори! С кем встречался? Говори! Явки? Говори! Говори! Говори! Или сровняем с землей!

Сколько ударов способен вынести здоровый мужчина?

По радио передают сигнал полуночи. Кафе закрываются, припозднившиеся посетители расходятся по домам, влюбленные перед воротами никак не могут расстаться. В кабинет с веселой улыбкой возвращается долговязый, худой комиссар.

— Все в порядке, пан редактор?

Кто сообщил? Елинеки? Фриды? Им даже неизвестно, как меня зовут.

— Видишь, нам все известно. Говори! Будь благоразумным.

Странный словарь! Будь благоразумным, то есть предай.

Буду неблагоразумным.

— Связать! И добавить!

Час ночи. По опустевшим улицам тащатся последние трамваи, радио желает спокойной ночи своим самым преданным слушателям.

— Кто, кроме тебя, состоит в Центральном комитете? Где радиопередатчики? Типографии? Говори! Говори! Говори!

Снова могу бесстрастно считать удары. Единственная боль, которую чувствую, — в прокушенных до крови губах.

— Разувайся!

И правда, в ступнях боль пока ощутима. Чувствую. Пять, шесть, семь... кажется, что дубинка достает до самого мозга.

Два часа ночи. Прага спит, разве что где-то во сне бормочет ребенок да муж приласкает жену.

— Говори! Говори!

Провожу языком по деснам: пытаюсь сосчитать оставшиеся зубы. Не выходит. Двенадцать, пятнадцать, семнадцать? Нет. Это меня допрашивают столько гестаповцев. Некоторые, наверное, устали. А смерть все не приходит.

Три часа ночи. В город с окраин пробирается раннее утро, к рынкам съезжаются зеленчики, на улицы выходят дворники. Живу надеждой, что встречу еще одно утро.

Привозят мою жену.

— Знаете его?

Глотаю кровь, чтобы не увидела... Глупость, конечно, потому что кровь повсюду: течет по лицу и даже капает с кончиков пальцев.

— Знаете его?

— Нет!

Ответила — и даже взглядом не выдала ужаса. Дорогая моя! Сдержала обещание не признаваться, что мы знакомы, хотя сейчас в этом нет никакого смысла. Кто же меня все-таки выдал?

Жену уводят. Прощаюсь с ней самым веселым взглядом, на какой только способен. Возможно, он совсем не таков. Не знаю.

Четыре часа утра. Уже светает? Или еще рано? Затемненные окна не дают мне ответа. И смерть все никак не приходит. Нужно шагнуть ей навстречу? Как?

Бью кого-то. Меня толкают на пол. Пинают ногами. Топчут. Отлично, теперь дело пойдет быстрее. Черный комиссар дергает меня за бороду и, показывая клоч выданных волос, довольно смеется. Действительно смешно. Больше вообще не чувствую боли.

Пять, шесть, семь, десять часов, полдень... Рабочие идут на работу и с работы, дети идут в школу и из школы, в магазинах торгуют, в домах готовят обед, возможно, мать вспоминает обо мне, товарищи, наверное, уже знают, что я арестован, и, может быть, принимают меры предосторожности... на случай, если заговорю... Не тревожьтесь — я ничего не скажу, поверьте!

Наверное, конец уже близок. Все это сон, кошмарный, горячечный сон. Мелькают кулаки, потом льется вода... И опять удары, и опять «говори, говори, говори!». А я все никак не могу умереть. Мать, отец, зачем я родился таким сильным?

Послеобеденное время. Пять часов вечера. Все устали. Бьют редко, с длинными паузами, больше по инерции. И вдруг откуда-то издалека, из бесконечной далекой дали тихо звучит нежный, ласковый голос:

— Er hat schon genug!*

И вот я сижу, и стол передо мной словно движется взад-вперед, и кто-то наливает мне воды, кто-то предлагает сигарету, которую я не в силах

* Хватит с него! (нем.)

удержать, кто-то силится меня обуть и сообщает, что ботинки не налезают. И вот меня наполовину ведут, наполовину несут по коридору, по лестнице вниз. Садимся в автомобиль, едем, кто-то снова наводит на меня пистолет — а мне смешно, снова проезжаем мимо трамвая, мимо свадебного трамвая — он весь в белых гирляндах, — но, наверное, все это сон, лихорадочный бред, агония или, вернее, сама смерть. Ведь умирать тяжело, а вот это — это совсем не так, это легко, словно перышко, еще один вдох — и всему конец.

Всему конец? Нет, все еще нет. Снова стою, в самом деле стою — сам, без посторонней помощи, — а прямо передо мной грязная желтая стена, забрызганная — чем? — кажется, кровью. Да, это кровь. Поднимаю руку, пробую размазать пальцем — получается. Кровь свежая, моя.

И вот кто-то дает мне затрещину, приказывает поднять руки и присесть — на третьем приседании падаю...

Прямо надо мной долговязый эсэсовец. Силится поднять меня пинками — напрасно, снова кто-то льет на меня воду, снова сижу, какая-то женщина дает мне лекарство, спрашивает, где болит, и мне кажется, что вся моя боль у меня в сердце.

— Нет у тебя сердца, — говорит долговязый эсэсовец.

— Нет, есть! — отвечаю я и вдруг чувствую гордость оттого, что у меня хватает сил, чтобы вступить за собственное сердце.

И вот снова все исчезает: стена, женщина с лекарством, высокий эсэсовец...

Передо мной открытая дверь. Жирный эсэсовец втаскивает меня в камеру, стягивает порванную в клочья рубашку, укладывает на солому и, ощутив мое опухшее тело, приказывает сделать примочки.

— Посмотри-ка, — говорит он другому и качает головой, — посмотри, на что там способны!

И снова откуда-то издалека, из бесконечной далекой дали тихо звучит нежный, ласковый голос:

— Не доживет до утра.

Еще пять минут — и часы пробьют десять. Прекрасный теплый весенний вечер 25 апреля 1942 года.

Глава 2

АГОНИЯ

*...Когда в глазах померкнет свет
И дух покинет плоть...*

Двое мужчин, опустив сложенные точно в молитве руки, тяжелым, размеренным шагом ходят кругами под белыми сводами склепа и протяжными, нестройными голосами тоскливо тянут церковную песнь.

Кто-то умер. Кто? Пробую повернуть голову. Наверное, увижу гроб с покойником, а в его изголовье — две горящие, торчащие вверх, точно указательные пальцы, свечи.

*Туда, где мрака ночи нет,
Нас призовет Господь...*

С трудом разлепляю глаза. Никого не вижу. Никого нет — только эти двое и я. Кому же они поют отходную?

*Туда, где светится всегда
Господняя звезда.*

Похороны. Определенно похороны. Кого же хоронят? Кого же? Здесь только эти двое... и я. Меня?!

Неужели это мои похороны? Эй, послушайте, это недоразумение! Ведь я не умер — я жив! Видите, смотрю на вас, обращаюсь к вам. Прекратите! Не хороните меня!

*Сказав последнее «прости»
Всем тем, кто дорог нам.*

Не слышат. Они что, глухие? Или я говорю слишком тихо? Или вправду умер и им не слышен голос с того света? И я лежу тут пластом и наблюдаю за собственными похоронами? Смешно.

*Мы с упованием свой взгляд
Подъемлем к небесам.*

Начинаю вспоминать. Кто-то с трудом поднимал меня, одевал, тащил на носилках — гулкий шаг тяжелых, кованых сапог разносился по этажам... Потом... потом ничего... Больше ничего...

*Туда, где мрака ночи нет...**

Какая-то бессмыслица. Я живу. Смутно ощущаю боль, жажду. Разве мертвым хочется пить? Изо всех сил пытаюсь пошевелить рукой. Чей-то чужой, неестественный голос просит:

— Пить!

Наконец-то! Двое мужчин перестают ходить кругами и склоняются надо мной; один поднимает мне голову и подносит к губам кружку с водой.

* Перевод Т. Аксель и В. Чехихиной. Цит. по изд.: Фучик Ю. Репортаж с петлей на шее. — М.: Гослитиздат, 1953.

— Сынок, нужно поесть. Ты уже двое суток только пьешь да пьешь.

Что он сказал? Уже двое суток? Какой сегодня день?

— Понедельник.

Понедельник. Арестовали меня в пятницу. Как тяжела голова! И как освежает вода. Спать! Дайте поспать! Капля замутила чистую водную гладь. Это родник на лугу, в горах, я знаю, в роще под Рокланом... мелкий дождь не переставая шумит в хвойном лесу... как сладко спать...

Когда я снова просыпаюсь, уже вечер вторника. Надо мной собака. Овчарка. Смотрит на меня испытующим умным взглядом и спрашивает:

— Где живешь?

Нет, это не собака. Чей это голос? Кто-то еще надо мной... Вижу пару сапог и еще одну пару... форменные брюки... но, как бы мне ни хотелось, поднять взгляд не выходит: голова кружится. Да какая разница, дайте поспать...

Среда.

Двое мужчин, распевавших псалом, сидят за столом и едят из глиняных мисок. Теперь я их различаю. Молодой и постарше, вроде не монахи. И склеп вовсе не склеп, а тюремная камера. Тюремная камера, как и любая другая: дощатый пол, тяжелая темная дверь...

В замке гремит ключ — двое мужчин вскакивают и вытягиваются по стойке смирно, входят двое в эссовской форме и приказывают меня одеть. Прежде

я и не знал, сколько боли таится в каждой штанине, в каждом рукаве. На носилках меня несут по лестнице вниз, гулкий шаг тяжелых, кованых сапог разносится по этажам — этим путем меня уже несли, и несли без сознания. Куда ведет этот путь? В какую преисподнюю?

В полутемную неприветливую канцелярию тюрьмы Панкрац.

Носилки ставят на пол, и притворно-добродушный голос переводит раздраженный немецкий рык:

— Знаешь ее?

Подпираю подбородок рукой. Перед носилками стоит круглолицая девушка. Стоит выпрямившись, высоко подняв голову, стоит гордо — не упрямо, а гордо... только взгляд чуть опущен, ровно настолько, чтобы видеть меня и приветствовать.

— Нет.

Помню, видел ее однажды, может быть мельком, в ту безумную ночь во дворце Печека. Сегодня мы с ней видимся снова. Третьего раза, увы, уже не будет, мне не доведется пожать ей руку за то, что держалась с таким достоинством. Жена Арношта Лоренца. Расстреляют ее в 1942 году, в первые дни военного положения.

— Но с этой-то вы точно знакомы...

Аничка Ираскова! Бога ради, Аничка, ты-то сюда как попала? Я не называл твоего имени, со мной ты никак не связана... Не знакомы мы с тобой, понимаешь, не знакомы!

— Нет.

— Подумай еще раз!

— Нет.

— Юлик, нет смысла, — говорит Аничка и только едва уловимым движением пальцев, сжимающих платок, выдает волнение, — нет смысла. Меня сдали.

— Кто?

— Молчать! — не дают ей ответить и, когда она, наклонившись, протягивает ко мне руку, с яростью отталкивают.

Аничка!

Больше ничего не слышу. Только, словно со стороны, совсем не чувствуя боли, наблюдаю, как два эсэсовца несут меня обратно в камеру, как, грубо стряхнув с носилок, со смехом интересуются, не предпочту ли я покачаться в петле.

Четверг.

Начинаю воспринимать окружающих. Одного сокамерника, того, что молодой, зовут Карел; другой, постарше, называет себя «отец». Рассказывают о себе, но в голове у меня все путается — какая-то шахта, чьи-то дети по лавкам; колокольный звон: наверное, где-то пожар; говорят, что доктор и фельдшер-эсэовец бывают тут ежедневно, что я не так плох, как кажется, и что снова буду молодцом. Это слова «отца»; он так убедителен, а Карел настолько охотно ему вторит, что даже в таком состоянии понимаю, как им хотелось бы, чтобы я поверил в эту святую ложь. Какие хорошие товарищи! Жаль, что я не верю.

Послеобеденное время.

Открывается дверь, и тихо, словно на цыпочках, в камеру вбегает собака. Останавливается у моей головы, внимательно меня осматривает. И снова две пары сапог (уже знаю, что одна — это ее хозяйин, начальник тюрьмы Панкрац, другая — начальник отдела гестапо по борьбе с коммунистами, руководитель того ночного допроса) и... штатские брюки. Пробегаю по ним взглядом, поднимаю глаза... и узнаю — да, тот самый долговязый, худой комиссар, возглавлявший облаву. Устраивается на стуле, начинает допрос:

— Все кончено, спаси хотя бы себя. Говори!

Угощает меня сигаретой. Отказываюсь. Не смогу ее удержать.

— Как долго ты жил у Баксов?

У Баксов! Еще и это! Кто рассказал?

— Видишь, нам все известно. Говори!

Ну, если им все известно, зачем говорить... Жизнь я прожил не зря, зачем портить ее под конец?

Допрос длится час. Комиссар не кричит, всё повторяет и повторяет за вопросом вопрос. Не получает ответа и спрашивает во второй раз, третий, десятый.

— Неужели не понимаешь? Все кончено, кончено для всех вас.

— Только для меня.

— Все еще веришь в победу коммунистов?

— Конечно.

— Все еще веришь, — спрашивает по-немецки гестаповец, а долговязый комиссар переводит, — все еще веришь в победу России?

Конец ознакомительного фрагмента.
Приобрести книгу можно
в интернет-магазине
«Электронный универс»
e-Univers.ru